

О ВРЕМЕНАХ, О ПРАВАХ

Пелипенко

Андрей

Анатолевич — художник, культуролог, преподаватель Высшей авторской школы аналитического искусства. Постоянный автор журнала «Человек».

Яковенко

Игорь

Григорьевич — культуролог, старший научный сотрудник Института научных проблем образования. В журнале «Человек» публикуется впервые.

ПЬЯНСТВО

© 1997

А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко

Тема пьянства надоела не меньше, чем само пьянство, а попытки теоретизировать на эту тему чаще всего выливаются в тоскливые и пошлые сетования по поводу национального характера. Хотим сразу успокоить читателя: мы не собираемся рассуждать о том, какой народ больше пьет, чем закусывает, и даже что он, народ, при этом переживает. Нас не интересуют квазиисторические и квазистатистические рассуждения о том, когда сколько пили и что из этого следует. Нас интересует один вопрос: какое значение имеет алкоголь в русской культуре, в пространстве ее смыслов.

Начнем с очевидного

Та часть жизни, которая соприкасается с темой алкоголя, имеет в русской культуре явно гипертрофированное значение. Несравнимо с другими языками количество иносказаний, аллегорий, метафор, жаргонизмов и всевозможных символизирующих, отсылающих, замещающих конструкций, связанных с темой спиртного: само спиртное, его потребление и ритуализация контекста потребления; состояние алкогольного опьянения; связанные с этим аффекты; состояние похмелья и бесконечные, сопоставимые в своей бесконечности только с предвкушениями, воспоминания. Темой спиртного пронизан весь фольклор — от частушки до Высоцкого, от заводской легенды до общенационального анекдота. Особая, алкогольная лексика стала своеобразным «эзотерическим» языком посвященных, где речевые конструкции выступают надводной частью айсберга — таинственного для стороннего наблюдателя языка жестов, намеков, интонаций и звукоподражаний.

Потребление спиртного «по-русски» — то есть сверх любой разумной меры, в размерах эпических — понимается как бесспорное достоинство. Отсюда — хвастовство количеством выпитого, оценка человека в зависимости от того, сколько он

может «выжрать», удивленно-презрительное, или, в лучшем случае, сочувственное отношение к непьющим.

Нальем, как полагается мужчинам,
В стаканы водку, в рюмки лимонад.

(Е. Евтушенко.)

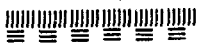
В типичной для обывденного сознания иерархии ценностей «тема» спиртного оставляет далеко позади как «тему» еды, так и «тему» секса. Эта ситуация уникальна, хотя в нашей культуре она выглядит настолько привычной и естественной, что, казалось бы, не требует специальных объяснений.

Интересно и место потребности в спиртном среди «законных» мотивов попрошайничества. Вот мотивы, по которым в России допустимо просить денег: на хлеб, на лечение, на дорогу до дома, на прокорм ребенка и, наконец, на бутылку. Очевидно, что и само попрошайничество, и мотивы, по которым человек обретает моральное право просить милостыню, легитимизированы культурой. Если мотив «законен» в рамках культуры, – можно не подать, но недопустимо, например, предлагать заработать. Практически все ситуации, мотивирующие попрошайничество, предполагают, во-первых, неспособность самому найти деньги: инвалидность, бедственное положение (сгорел дом, болезнь, беженцы, оказался в чужом городе), во-вторых, очевидную безусловность, крайнюю жизненную необходимость той потребности, на которую просят: на сникерс или бифштекс не просят – просят на хлеб. Выпивка, таким образом, мыслится в ряду святых и непреложных витальных потребностей, на ее удовлетворение не зазорно попросить милостыню. Более того, попрошайничество профессиональное предполагает подчеркнута демонстрируемую нетрудоспособность – предпочтительна инвалидность, убогий вид; хорошие результаты дает вид женщины с грудным ребенком на руках и вторым, обходящим людей с шапкой. А вот для того, чтобы просить на стакан, достаточно решимости. Эта просьба самодостаточна, священна сама по себе, она не нуждается ни в каких обоснованиях. Ситуация, когда не хватает на бутылку, сама по себе – несчастье.

Алкогольная тема проходит сквозь любые профессиональные, субкультурные, возрастные, социальные, образовательные и другие границы. Она охватывает весь континуум русской культуры. Бутылка выступает как универсальный символ, знак некоторого единства, как всеобщий эквивалент. Масса ценностей может быть измерена в бутылках.

Каждый знающий русскую культуру изнутри, независимо от степени причастности к этой традиции, может существенно дополнить эти предельно общие наблюдения.

Здесь объяснения типа «загадочной русской души», тяжелой жизни, наследия мрачного прошлого или происков жидомасонов удовлетворить не могут. Значимость и место алкого-



ля в культуре говорит прежде всего о масштабе общекультурных задач, решаемых через алкоголь. Вот эти задачи мы и пробуем вкратце охарактеризовать.

Русская культура в миру бинарных оппозиций

Чтобы понять, какие же задачи решает алкоголь в русской культуре, нужно вспомнить еще несколько очевидных вещей – но очевидных уже не для повседневного сознания, а для современной культурологии.

Человек как существо по своей природе пограничное вынужден постоянно пребывать в пространстве фундаментальных, неустраняемых противоречий – бинарных оппозиций, – из которых и состоит смысловое поле культуры вообще и любой конкретной культуры в частности. Однако природа человеческого сознания такова, что оно не может смириться с неустраняемыми противоречиями смыслов и ценностей и всеми путями стремится их снять: примирить, объявить недействительными, выйти в какую-то точку сознания, с которой они представляются несуществующими, мнимыми. При этом идеальная самореализация человека всегда связана не с переживанием какого-либо единичного и конечного феномена или состояния, в котором бинарные оппозиции снимаются ситуативно, на время и в известных пределах, – а с выходом за пределы конечных оппозиций. Эта направленность вовне, за рамки всяких семантических пределов, связана с принципом трансцендирования. Под действием импульса к трансцендентному человек стремится вырваться из пространства бинарных оппозиций и достичь непротиворечивого бытия. Но это, по сути, означает выход за пределы культуры. Трагедия человеческого бытия в культуре как раз и состоит в невозможности полного и абсолютного трансцендирования. Мнимый выход за пределы бинарных оппозиций в действительности лишь перемещает рефлексивную ситуацию на новый уровень бинарных оппозиций. Дальнейшее развитие этой философско-культурологической темы увело бы нас слишком далеко.

Одно из важнейших для всякой культуры бинарных различий – оппозиция должного/сущего, или, иначе говоря, дуализм автомодели культуры и ее реального образа. Эта оппозиция относится к числу первичных, наиболее фундаментальных – тех, что возникают непосредственно из распада первичной синкретичности, нерасчлененной целостности ритуала. И полюса данной оппозиции, сохранившие немалый «запас» первичного синкретизма, несут колоссальный смыслообразовательный потенциал. Внутри этих полюсов – синкретических смысловых капсул – как бы подспудно идет дальнейшее членение, происходит становление отдельных смыслов, позиций, отношений, а те уже в опосредованной, замещенной и несобственной форме отражаются в культуре.

Итак, культура существует в пространстве бинарных оппозиций, а человеческое сознание по своей природе стремится к целостности, преодолению оппозиций. Эта ситуация заставляет всякую культуру вырабатывать механизмы медиации – своеобразных «посредников» между полюсами оппозиции. Тем, кому данная проблема интересна, а читать философские и культурологические работы недосуг, можно порекомендовать почитать (или перечитать под новым углом зрения) «Иосифа и его братьев» Томаса Манна. В этом великом романе тема посредничества между полюсами культурных оппозиций – едва ли не главная. Для нас же здесь важно, что специфические механизмы и особенности такой медиации как ничто иное раскрывают характер системного качества той или иной культуры.

Так, культура западноевропейского христианства унаследовала от античности антропные основания и формы медиации и, отталкиваясь от аристотелевой логики и вооружась христианской доктриной богочеловека, осуществила медиацию в форме последовательной прогрессии бинарных оппозиций. Какие коллизии испытал при этом европейский дух, ставший в конце концов жертвой собственной расчленяющей рефлексии, – вопрос отдельный. По существу, связующим звеном между должным и сущим, между Землей и Небом, между божественным и природным в европейской культуре стал буржуазный человек, аристотелевский homo politicus с христианской душой. Подспудно зреющая в средневековье, эта синтетическая культурно-антропологическая парадигма проявилась со всей очевидностью в эпоху Ренессанса и Реформации. А в последующий период новоевропейской истории изначально неснимаемая оппозиция между должным и сущим «спустилась» посредством семантической регрессии до оппозиции закона и свободы и тем самым как бы снялась. Так западный человек обрел гармонию, периодически нарушаемую циклическим ниспровержением богов, спровоцированным коварной рефлексией.

Есть и другие варианты выхода. Можно примирить мир трансцендентный с миром имманентным, объявив мир имманентный иллюзией, как это сделал буддизм.

Было в истории и третье решение. В исламе примирение миров горнего и дольнего произошло в обход антропных оснований, за счет единства логоцентрического принципа, в равной степени упорядочивающего как трансцендирующую медиацию в молитве, так и типические ситуации обыденной жизни.

В русской культуре доктринального решения медиации должного и сущего не найдено. Эти миры пребывают в вечном антагонизме, вечно делят смысловое пространство культуры, превращают последнее в неустойчиво-зыбкое кентаврическое целое. А потому культура, вырастающая из проклинаемых и ненавидимых, но до конца не изжитых манихейских корней, вечно озабочена проблемой соединения несоединимого. И именно здесь порождающее лоно всех «великих идей».

Российская культура не только не имеет полноценных антропных оснований, но так и не сумела выработать никаких иных универсальных форм медиации.

Но без тех или иных механизмов медиации культура просто не может выжить. Если ее автомодель (свод идеальных культурных образов и образцов, воплощающих универсальные для носителей данной культуры представления о самой этой культуре, ее нормах и ценностях) не способна выработать универсальную для данного общества доктрину медиации, — то источником медиации выступает уже не идеальная знаковая модель культуры, а ее, культуры, синкретическое предметное тело. А сам процесс медиации в этом случае носит спонтанный характер и осуществляется, так сказать, на «клеточном» уровне. При этом семиотические образы медиационных форм — символы, образы, мифологемы — функционируют, если можно так выразиться, ненормальным образом.

В «нормальной» ситуации они как бы спускаются сверху вниз. Как божественная эманация, нисходят из сакральных сфер должного, последовательно онтологизуя (наделяя подлинным бытием) безымянно-профанную реальность, оправдывая ее с точки зрения высших смыслов, совершенствуя и облагораживая, давая ее феноменам имена и бытийственные права. Постепенно, порциями, из века в век феномены «профанной», земной реальности втягиваются в лоно священных смыслов, берущих начало в сфере «должного».

В России все наоборот. Мир горний отгорожен от мира дольного непроходимой пропастью. И мир должного никак не проявляет желания наводить медиационные мосты, даже ради расширения своих владений за счет освоения нового материала из сферы сущего¹. Напротив, манихейская непроходимость дистанции, разнобытийственность двух миров — «сакрального», «высшего», «должного» и «профанного», «земного», «сущего» — настойчиво подчеркивается. Причем этот принцип гальванической ванны, в силу которого все смыслы русской культуры растаскиваются к полюсам должного и сущего, работает столь безотказно, что ни одна из институционализированных форм медиации, включая даже такие фундаментальные, как государство, не носят универсально-всеобщего характера.

В этих условиях всеобщая медиация может осуществиться только в стихийно-низовых формах, а главное, может распространяться через тот глубинно-архаический слой ментальности, который стадильно предшествует утверждению манихейской доктрины как в ментальности отдельного индивида, так и в истории культуры в целом. Иначе говоря, если культура не решает проблему медиации между должным и сущим «сверху», — единственной универсально-жизнеспособной формой медиации может стать воспроизводство того архаичного уровня синкретизма культуры и сознания, который вообще предшествует полаганию должного и сущего.

¹ Принципиальное отсутствие в русской культуре медиаторов между «должным» и «сущим», «божественным» и «диавольским», «сакральным», священно-потусторонним и «профанным», низменно-обыденным и т.п. отмечалось многими исследователями. Подробнее всего это положение рассматривается и доказывается на семиотическом уровне в многочисленных работах Б.А. Успенского.

В бутылке мир горний и дольний сливаются в диффузном смешении. А субъект проваливается в состояние, которое на языке современных экстрасенсов называется «нижним астралом». Другие, менее архаические формы медиации безжалостно подавляются неразрешимым дуализмом манихейской парадигмы. А если те или иные формы цивилизованной, не традиционной для нашей культуры, медиации все же проникают сквозь этот фильтр и утверждаются в культуре, то практически всегда ограничиваются какой-то частной, изолированной областью бытия. Более того, образы этих «нетрадиционных» медиаторов – государства, монархии, церкви, чиновной иерархии – носят в культуре глубоко амбивалентный характер. Вспомним, например, неизменно амбивалентную семантику любых форм и представителей власти – от царя до последнего околоточного.

Неуниверсальность, ограниченность осуществляемой ими медиации, помимо иных, более сложных соображений подтверждается еще и тем, что они сами вынуждены обращаться к единственно подлинному и незаменимому российскому медиатору – бутылке. Пили цари и чиновники, пили министры, генсеки, вертухай, сексоты, завмаги, протоиереи и епископы, милиционеры и все остальные персонажи, наводящие по долгу службы мосты между космическим порядком и реальностью.

Таким образом, алкоголь стал единственной универсальной формой медиации между должным и сущим в русской культуре. Из этого следует, что российское пьянство есть бегство от проклятого, фундаментально неразрешимого противоречия, заложенного в основании культуры. Культуры, в которой само существование недостижимого метафизического идеала автоматически предполагает на другом, трагически оторванном, полюсе существование грязного, богооставленного, погрязшего в грехе и мерзости мира.

Трансцендирование все-таки происходит, но носит не прогрессивный, а регрессивный характер.

О пьяном трепе

В разговоре о медиативной функции алкоголя особого внимания заслуживают особенности ритуального контекста рассматриваемой формы медиации. Одной из самых обыденных, а потому и наименее рефлектируемых форм такой квази-ритуальности является пьяный треп.

Русское пьянство никоим образом не сводимо к стандартным физиологическим аффектам. Оно заключается, прежде всего, в формировании особой культурной ситуации. Пьяный треп – ядро акта возлияния. Всякий, кто был хотя бы свидетелем этого, не мог не отметить, что специфика российского пьяного трепа заключается не то чтобы в полной бессмысленности, а в особой малоосмысленной текучести, аморфности, ненаправленности, спонтанности разговора. Что и отлича-

² Отметим ряд близких феноменов. Первый — так называемая светская болтовня «ни о чем». Второй — разговор буквально ни о чем, в высшей степени типичный для самых разных слоев и субкультур общества, близких с точки зрения типологии ментальности традиционному сознанию. Такой разговор подтверждает картину мира и в этом смысле относится к ритуалам. Он же воспроизводит пространственность синкретичности.

ет данную форму медиации от трезвого разговора, пусть даже и за бутылкой вина. Русский пьяный треп вязок, цикличен, бесконечен, принципиально неконструктивен и процессуально самодостаточен. Ни один смысл не фиксируется до конца, не вычленяется, не дискретизируется и не рефлегируется: ведь всякая рефлексия выявляет конечное, а конечное — враг трансцендирования. Избежать его можно лишь спонтанным дрейфом расслабленного сознания по течению семантических значений².

Вообще говоря, рефлексия — внутренний враг русского человека, против которой тот не имеет стратегического оружия. Отравляющую силу дискретизирующей рефлексии, возвращающей сознание к трагической раздвоенности мира, можно лишь притупить с помощью алкогольной наркотизации.

Как только смыслы начинают фиксироваться и обретать некую определенность (в потоке пьяного сознания), — срабатывает роковой закон расщепления и стягивания смыслов к аксиологическим полюсам. Носитель традиционной культуры ввергается не в спасительную трансценденцию, а в пространство гипертрофированных аксиологических контрастов, где бунт вырвавшегося из любых нормативов «я» чередуется с приступами мазохизма, самооплевывания, духовного стриптиза. Именно поэтому в его сознании срабатывает импульс — выпить еще. Цикл наркотизации наращивается. И так без конца. Повторим, что единственное содержание пьяного трепа как феномена культуры — трансцендирование. Его участники оказываются вне времени и пространства, ибо все социальные, временные ритмы, рамки, нормы, лежащие на русском человеке тяжким бременем социализации, благодетельно снимаются; теряют смысл и пространственные и ситуационные привязки. Пьяный треп равно происходит и на свадьбе, и на похоронах, в подворотне, в покоях генсека или президента, в Доме творчества и т.д.

Пьяный треп — особая резервация, островок безопасности, куда можно удрать от тяжелого креста цивилизации. Содержанием трепа может быть что угодно. Лишь бы только не что-то конкретное. Главное не смысл, а ненаправленный циклический дрейф. При этом между участниками устанавливается особый род апофатического единства, некоего экзистенциального контакта и единственно возможной полноценной медиации. Здесь при минимуме сказанного достигается максимально возможное понимание. Чудодейственность алкогольной медиации проявляется в том, что она может осуществляться между кем угодно. В частности, между такими субъектами культуры, которые при других обстоятельствах не только не нашли бы темы разговора, но и вряд ли сели бы за один стол. Посредством бутылки могут полноценно общаться коммунист-расстрига и апостол антикоммунизма (по свидетельству Костикова). С наименьшим успехом бутылка способствует установлению душевных отношений между царями и псами. В этой связи

приходят на ум в высшей степени характерные воспоминания начальника охраны Горбачева. Неприятие этого лидера и одиночество Горбачева в конце его политической карьеры связано с нарушением последним неписанного закона общения высших чинов СССР и их охраны (обслуги). Он ни разу не выпил, не поговорил «запросто», а ограничивался служебными отношениями.

И вообще, устойчивые человеческие отношения не могут быть вне бутылки. Отсюда неприязнь к непьющим – не своим, не родным. Подчеркнем еще раз: описываемая картина не есть достойные каких-либо периферийных (маргинальных) слоев или чисто «простонародных» отношений. Схема трансцендирования через пьяный треп универсальна.

Роковая проблема должного/сущего, будучи переведена в плоскость безопасного текущего дрейфа, расслабляет сознание и, оставаясь центральной, становится безопасной, ибо исключает болезненную рефлексию «всерьез». В пьяной болтовне рефлектирующее сознание как бы выносится за скобки и коллизия трагического уклонения от должного видится с позиций отстраненного небожителя. Можно безболезненно разглагольствовать о прелестях и недостижимости праведной жизни, изоцряться в проклятиях по поводу сволочной реальности, пребывая при этом в позиции неуязвимой венаходимости. Обычное дело – обрушивать на собеседника поток неумного бахвальства и «распускать хвост», в перламутровых перьях которого уловимы блики фаворского света и лучистого великолепия Небесного Иерусалима – града Должного, где постоянно пребывают небесные двойники участников пьянки. В расслабленном алкоголем сознании смутные тени этих двойников становятся немного ближе и отчетливее.

Несколько слов об апофатике спиртного

Одним из кардинальных свидетельств особой значимости какого-либо явления в архаической культуре является его семиотическое табуирование. Сверхзначимость, статус всеобщего эквивалента, амбивалентность, универсальность почти всегда сопровождаются запретом на называние прямых имен и склонностью к замещающим обозначениям. Замещающие имя обозначения – «Он», «Хозяин», «Сам» звучали в России в адрес нечистой силы. Так называла своего грозного патриархального мужа деревенская баба. Ровно так же дворня звала Сталина. В этом ряду лежит обширная феноменология аллюзий, недомолвок, всевозможных подмигиваний, жестов и т.п.

Избегание прямых номинаций в отношении спиртного лежит в ряду подобных практик. Поле намеков, аллюзий и эвфемизмов охватывает семантическую сферу образов бутылки как знака спиртного. Далее, высокозначим образ тепла, огня, «сугрева» как спиритуальной сущности последнего. Тепло

(огонь) как обозначение главного психофизиологического эффекта потребления спиртного почти алхимически увязывает алкоголь с духовной субстанцией огня. Точно так же работают образы самого процесса потребления сакральной жидкости и, наконец, пласт образов, связанных с посталкогольными последствиями, состоянием похмелья.

Общение широких социальных категорий пронизано бесконечными в своих вариациях и безгранично убогими намеками на выпивку. Тема потребления алкоголя пронизывает искусство. Широко и мощно звучит на эстраде. Реплика «а у нас с собой было» вызывает гарантированное радостное возбуждение, веселый смех и всеобщее сочувствие. Ни одному полноценному, психически здоровому человеку не надо объяснять, о чем речь, что же «у нас было» и почему это так прекрасно. Для массы людей потребление пищи корреспондирует с употреблением спиртного, а секс вообще не отделим от последнего. Слова, связанные с потреблением пищи («ужрались»), переносятся на питье. Особенно часто прибегают к замещениям из сферы секса. Потребление алкоголя переживается одновременно и как вкушение пищи, и как половой акт. Это интегративная универсальная радость.

Связывая тему алкоголя с проблемой трансцендирования, необходимо рассмотреть ее и как специфический способ наркотизации.

Начнем с того, что переход к культурной стратегии существования сильнейшим образом фрустрирует, ущемляет природные аспекты человеческой сущности. Человек, двинувшийся по пути истории, самораспял себя на кресте цивилизации. Ее параметры не отвечали изначальной природе человека. Отсюда – тяга к наркотизации. Настой мухомора, листья колы, курение. Ритуальная практика сплошь и рядом сопровождалась употреблением наркотиков, галлюциногенов. Рядом с этим существовала постоянная бытовая наркотизация.

Поэтому в культуре наряду с перспективной позицией (решение культурных проблем культурными средствами, или бегство вперед, к Богу) существует и противоположная тенденция – бегство из культуры назад к докультурному состоянию. Заметим, что там, где эволюция начерно набрасывает модели предсоциализации – у высших млекопитающих – встречается подобие наркомании. Первые и самые мучительные прорывы от природы к культуре зафиксированы в ритуалистике и магической практике, сопровождающейся сильнейшей наркотизацией. Вспомним, откуда в Европе появился табак.

Наркотизация, которая не может быть признана внекультурным средством, в своей пограничности максимально тяготеет к природным, наиболее архаическим формам трансцендирования. На высоких стадиях развития культуры наркотизация, имеющая огромнейшую и разнообразнейшую историю, играет роль запасного выхода, черного хода в трансценденцию

«нижнего астрала» для слабых маргиналов и зажившихся архайков, не способных к трансцендированию «вверх» вместе с доминирующим вектором системного качества культуры. Однако для архаического человека наркотический путь трансцендирования оказывается не запасным, а единственным.

В отличие от высоких форм культурного трансцендирования, наркотическое, в сущности, непродуктивно и бессодержательно, ибо его пространство предшествует полаганию содержательных оппозиций. Спонтанное созерцание содержимого бессознательной сферы нельзя принять за продуктивное содержание. Оно не рождает и не оформляет новых смыслов, не участвует в генезисе культуры.

В завершение скажем, что многочисленные и на разные лады пересказываемые причины пьянства на Руси нами не оспариваются, но видятся как производные от изложенных первопричин.